

Игорь Малышев



Малышев Игорь Александрович, прозаик, драматург, поэт. Родился в 1972 г. в Приморском крае. Получил высшее техническое образование. Работает инженером на атомном предприятии. Печатался в журналах «Новый мир», «Юность», «Дружба народов», «Москва». Автор книг «Лис», «Дом», «Там, откуда облака», «Номах», «Маяк». Финалист литературных премий «Большая книга», «Русский Букер», «Ясная Поляна». Живёт в г. Ногинске.

Из сборника рассказов «Свет. Слушать песни дождей и черёмух...»

Все огни – огонь.

Х. Кортасар

Дом

Это старый дом. Ему несколько сот лет. Тут жили мои предки. Тут живу я.

Сейчас я сижу на табуретке, прижавшись спиной к печи. Держу на коленях дедовскую двустволку с вытертым цевьём и прикладом и блестящими даже в темноте стволами. Справа от меня собака Найда – чёрная крупная дворняжка с прямостоящими ушами и чутким чёрным носом. Она хромая, но у неё острые зубы. Я тоже хромой, и ещё у меня очки с толстенными стёклами. На голове шапка-ушанка, на плечах отцов военный бушлат, вылинявший почти до белизны. В доме холодно, я давно не топил печь, хотя и дров, и угля хватает. Я не могу отвлечься, вокруг дома ходят люди. Впрочем, можно ли назвать людьми те светящиеся фигуры, что мелькают за задёрнутыми шторами?

Ночь. Шторы из лёгкой ткани занавешивают окна. Шторы темны. И эта темнота – самое спокойное, что я только могу себе представить.

Я всего на мгновение закрываю глаза и тут же проваливаюсь в бездонную яму, что вырыли усталость и вынужденная многодневная бессонница.

Я летаю в этой прекрасной, мягкой, как пух чёрных лебедей, темноте, пока меня не выдёргивает оттуда лёгкий взрык моей собаки.

– Р-р, – издаёт она короткий звук – и вот я уже снова весь один большой напряжённый кулак.

За окном светлеет. Но это не утро. В наших широтах утро не настанет ещё очень долго. Светлеет. В тишине слышен хруст снега. Хрум-хрум, скирлы-скирлы. Скирлы-скирлы, хрум-хрум. Ещё появляется звук. Низкий гул и шелестящие потрескивания. Так звучат высоковольтные провода.

Собака скулит, ей страшно. Мне тоже страшно. Я отпускаю ружьё, кладу правую руку собаке на холку, глажу. Успокаиваю её и себя.

– Ч-ч-ч, – говорю я ей.

Таким звуком я успокаивал сына, когда он был совсем маленьким.

– Ч-ч-ч, – говорю я.

Сейчас сын вырос и очень далеко.

Я сижу и смотрю, как светлеет левое окно. Гул и высоковольтный шелест нарастают. Собака дрожит под моей рукой. Собаке страшно. Мне тоже страшно. Я убираю руку с гладкой холки собаки, берусь за цевьё, направляю стволы на левое окно.

Гул нарастает. Стёкла в окне начинают позвякивать и гудеть в ответ.

Окно светлеет, светлеет. На него уже больно смотреть. Яркая, полыхающая человечья фигура проступает сквозь ткань занавески. Тот, кто пришёл, стоит вплотную к окну и глядит оттуда, из зимы, сюда, внутрь дома, но не видит ничего, кроме ткани штор.

Снег больше не хрустит. Нет больше ни «хрум-хрум», ни «скирлы-скирлы». Только зимняя тишина. Зимняя тишина никогда не сравнится с летней. Летняя, по большому счёту, вообще не тишина. Она наполнена жизнью, движением. Зимняя – настоящая, сплошная смерть и неподвижность.

Мы смотрим на занавеску, что нас разделяет. Я и он.

– Надо поджечь крышу, и он выйдет, – говорит кто-то, обращаясь, возможно, к тому, кто стоит перед моим окном.

Я убираю палец с предохранительной скобы и кладу на спусковой крючок. Два ствола, восьмёрка, уроненная набок, знак бесконечности, смотрит прямо на исходящее светом окно.

– Ч-ч-ч, – говорю я еле слышно, но уже не для того, чтобы успокоить себя или собаку, скорее пытаюсь уговорить тех, кто стоит за окном.

Тех, от близости которых звенят окна, электризуются волосы на голове и скулит собака.

– Ч-ч-ч, – говорю я.

Скирлы-скирлы, хрум-хрум. Вот уже и второе окно загорелось, изнывает от света. Собака скулит всё громче. Я перевожу знак бесконечности с одного окна на другое. В патронах дробь. Я не знаю, возьмёт ли утиная дробь тех, кто стоит за окнами на хрустящем снегу.

Звенят стёкла. Капли пота стекают из-под ушанки по лбу и вискам. Собака скулит и переступает лапами. Её когти постукивают по крашеным доскам пола.

Рядом с левым окном иконы в расшитых рушниках. Я опускаю ружьё, быстро крещусь и снова ловлю ладонью удобное, вытертое дедовой и отцовской ладонью цевьё.

– Если подожжём крышу, ему некуда будет деваться, – слышен красивый, с безупречной дикцией голос.

Я глажу собаку. У меня шевелятся волосы на голове.

Светящиеся фигуры перемещаются в окнах, расчерченных перекрестьем рам. Фигуры хотят найти щель в шторах и заглянуть внутрь. Но щелей нет. Я это знаю точно. Я готовился и тщательно занавешивал окна.

Скирлы-скирлы. Стук-стук. Кто-то стучит по стеклу, пробуя его на крепость. Стекло не может быть крепким, они

знают это. Стук-стук, это сигнал мне, напоминание о непрочности стекла.

Звуки замерли в выстывшем воздухе, и окна стали темнеть. Кто бы они ни были, те существа, они уходили.

– Надо было поджечь крышу, – сожалея, говорит голос с безупречной дикцией и бархатным тембром.

Найда скулит, расслабляясь и радуясь, что мы пережили очередное нашествие светоносных фигур.

У нас есть немного времени. Я закидываю в остывшую печь дрова, поливаю керосином. Спичка, вспышка, поток благодатного тепла. Дрова разгораются. Одно за другим укладываю кольца на плиту, прячу пламя. В трубе загудело. Но не так, как гудели стёкла от приближения светоносных. Это гудение – обещание тепла, счастья, сытости. Жизни, по большому счёту.

Раскидываю кольца, засыпаю в печь уголь, одно ведро. Уголь грохочет, пересыпаясь, придушивает пламя. Я разгребаю кочергой чёрные поблёскивающие куски. Пламя оживает, трётся с кошачьей грацией о бока антрацита, греет. Я снова отправляю кольца на место. Забрасываю в чугунок картошку. Ставлю на чугунную плиту печи. Открываю банку тушёнки.

Перемешиваю сварившуюся картошку с тушёнкой, выдерживаю на полу, где холоднее всего и гуляют злые змейки сквозняков. Накладываю в собачью миску, отдаю Найде. Наполняю свою миску, ем сам. Найда ест жадно, быстро. Управляется со своей порцией, когда я не съел от своей ещё и трети. Облизывается, поглядывает на меня чёрным блестящим глазом.

Дом наполняется теплом. Я снимаю шапку, скидываю отцов бушлат. Отдаю собаке недоеденную картошку. Она подбирает остатки за время, за которое я едва успел бы облизать ложку.

Благодать. Спать очень хочется.

Я крещусь в ту часть темноты, где должны быть иконы.

Ставлю ружьё прикладом на пол. Направляю знак бесконечности себе в лицо. Смотрю в стальную глубину стволов. Думаю, что именно этого от меня и хотят те, что приходят из темноты, неся свет со звуками «хрум-хрум» и «скирлы-скирлы». Смеюсь в разверзшуюся передо мной восьмёрку, подмигиваю дворняге, и мне кажется, она подмигивает мне в ответ.

Дворняга кладёт голову на передние лапы и закрывает глаза.

Дом выстывает. Я нахлобучиваю на лоб треух, прячу ладони в рукава армейского бушлата, приваливаюсь спиной ко всё ещё тёплой печи.

Меня будит короткий взрык Найды. В окнах всё светлее. Стёкла начинают звенеть. Шелестящий звук высоковольтных проводов под напряжением.

От света больно глазам. Собака скулит. Сухой стук когтей по деревянному полу. Вставшая дыбом шерсть на холке. Знак бесконечности гуляет от одного окна к другому.

Хрум-хрум, скирлы-скирлы.

– У кого бензин? – спрашивает голос с прекрасной дикцией, и звучит он бархатно, как никогда. – Мыло, бутылки, тряпки для запальных лент?..

Я глажу собаку. Она дрожит.

– Ч-ч-ч, – говорю я себе и ей.

Переламываю ружьё, шарю по карманам отцовского бушлата, меняю утиную дробь на картечь.

Глажу собаку.

– Всё будет хорошо, – говорю я ей, глядя на обжигающе яркий свет в окнах, на полыхающие пламенем фигуры, льнущие к стёклам.

Стёкла гудят, потом переходят на звон.

Я глажу собаку. Палец лежит на спусковом крючке. Знак бесконечности блуждает от окна к окну.

Ракета

Он нажимает на спусковой крючок, и ракета взлетает вверх. Я стою прямо на том цилиндре, который все сидящие, лежащие и стоящие внизу увидят, как звезду, ракету раздражающе красного цвета. Шипя, ракета уходит вверх, оставляя за собой дымный хвост и источая рубиново-яркий свет.

Площадь цилиндрика мала, но, как известно, созданиям, подобным мне, много и не надо. Нас и на кончике иглы разместится не один легион и не одна дивизия.

Стою. Волосы мои, солнечно-светлые, белые одежды, ослепительно сияющие крылья развеивает ветер высоты.

Ракета уходит всё выше. Я поднимаю руки, в широкие рукава врывается поток ледяного воздуха, обтекает бесплотное тело, трогает каждое ребро, каждую косточку и жилку. Я люблю ощущение полёта. Ничто не сравнится с ним. Я чувствую, как тянет к себе ракету земля, как она зовёт крохотный цилиндр под моей ногой, тяжёлая ласковая земля. Умеющая, как и я, любить всех без разбора: добрых, злых, глупых, умных, жестоких, наивных, восторженных, озлобленных...

Тяжёлая ласковая земля, укрытая снегами, как ватным одеялом, уходит всё дальше и дальше. Я смотрю вниз.

Там, на снегах, на разорванной грубым железом земле затаились сотни тысяч готовых убивать друг друга людей. Взлёт моей ракеты для кого-то означает начало тяжелейшего наступления, для кого-то – начало страшнейшей, изматывающей многомесячной обороны. Они будут сталкиваться лбами, грызть друг друга зубами, разбивать друг друга в слизь и мякоть. Превращать в пепел и тлен. Ослеплять, обездвигивать, оглушать. Лишать памяти, речи, обоняния, чувства голода, желания женщины, желания любить, желания улыбаться. Хотя последнее не

совсем верно. На войне много шутят и смеются. Чтобы не сойти с ума. Они защищаются как могут от ужаса, эти маленькие тёплые комочки плоти.

На время они забудут о желании петь, сочинять стихи, гладить детей по голове. Сейчас они должны выжить, и это всё, что осталось в их расширившихся, глядящих на взлёт ракеты зрачках. Глаза как колодцы, как пули, летящие в цель, как падающий камень, как тьма.

Ещё секунда – и...

Зарычит железо, вздрогнут стальные мускулы бронетехники, двигатели хлебнут горячей животворящей крови земли, оживёт эфир, понесутся команды. Взлетят снежные комья, комья грязи. Рывкнет сотнями глоток артиллерийское чудовище – бог войны.

Треснет хрупкий хрусталь фронтовой тишины, небо озарится сотнями, тысячами вспышек огня, загрохочут небеса, на мгновение погаснут звёзды над снежными полями, в которых даже я не знаю, сколько снежинок, только Он.

Качнётся маятником месяц в полночном небе. Качнётся тьма над планетой, планеткой, которая и сама, если разобраться, не больше того острия иглы, о котором любил порассуждать богословы Средневековья.

Напрягутся тысячи фигур корреспондентов, ловящих вести о наступлении в далёкой северной стране. Замрут в машинах рулоны белой бумаги, готовые принять типографскую краску, рассказывающую о том, как несметные полки начали крошить и кромсать друг друга. Забыв о матерях и детях, жёнах, любовницах, рыбаках, собаках, книгах и марках. Забыв о самом дорогом. Крошить и кромсать...

... Но это будет через мгновение. А пока я, ангел в расширенных светом одеждах, стою невидимо на видимом всем цилиндрике, источающем рубиновый свет, означающий начало наступления, начало битвы, которая определит

будущее всех тех, кто смотрит сейчас живыми соцветиями глаз на красный огонь, определит жизнь их детей, внуков, правнуков и далее по затухающей. Они готовы ради этого убивать и умирать.

Мне жаль их всех. Я хочу только одного – чтобы они не убивали и не мучали. Я хочу, чтобы они считали друг друга братьями, детьми и родителями. Они могли бы попробовать стать друг другу братьями, родителями и детьми, но время упущено. Теперь в колодцы их глаз падает рубин ракеты, и колодцы наполняются ядом.

Моя жуткая фантазия, о которой Он, конечно же, знает – Он знает всё, состоит в том, чтобы обратиться к кому-нибудь из древних мёртвых богов и попросить сковать стилет, которым можно было бы убить ангела. Это фантазия, но он скуёт, скуёт. Чёрный, красивый, с ветвящимися узорами по клинку. Лёгкий и в то же время страшно тяжёлый. Невероятно красивый той злой убийственной красотой, которой только и можно поразить ангела. Чем бы я расплатился? Не знаю, может, дал бы ему возможность пожить ещё мгновение. Мёртвые нетребовательны. Даже мгновение жизни для них бесценно.

Или нет, я попросил бы сделать какой-нибудь грубый стреляющий предмет, похожий на те, что превращают людей в пыль и слизь, чёрный, уродливый, угловатый, шероховатый, покрытый окалиной и заусенцами... Из которого можно пустить в ангельскую голову безобразный кусок железа и разнести ангельскую, бесподобно прекрасную голову на мокрые ошмётки, уродливые именно потому, что были частью невероятно красивого. Чтобы меня раскидало по снегам этой северной страны, по небосводу, изнывающему звёздным светом, по маятнику месяца. Чтобы всё вздрогнуло. Всё построенное Им здание. Вся восхитительно прекрасная и восхитительно

несчастливая конструкция, наполненная светом, любовью, болью и жалостью.

Он знает об этом. Ему известна каждая завитушка моей сложной, как переплетения морских водорослей, мысли. И мысль моя, знаю, для него не сложнее прямой линии...

Да, хотел бы я сейчас свалиться с возносящейся в тёмные небеса ракеты с простреленной, разбитой вдребезги моей ангельской головой, но... нет. Ракета, светонесущий цилиндр, взлетает всё выше и выше, легионы глаз обращаются к ней, я стою, руки мои воздеты, глаза опущены. Одежды мои раздрают зимние ветра, в крыльях моих снег и холод. Лёд в моих глазах, под ногтями моими кровь.

И больше всего я хотел бы сейчас упасть в грязный снег с простреленной головой.

Однако бессмертен.

Всё выше и выше. Скоро ракета достигнет высшей точки, я оторвусь озябшими пятками от холодного металла и, бродя невидимо среди взрывов, летящих свинцовых насекомых, стану наблюдать. Буду продолжать наблюдать.

Осень в Симферополе

Город – Симферополь. Время года – противное, поздняя осень. Погода серая с сеющим дождём. Мне семь лет. Мы с матерью следим за отцом. Мы случайно заметили его по дороге домой, и мать тут же решила проследить за ним, не приближаясь совсем уж вплотную. Его фигура в длинной армейской плащ-палатке маячила впереди довольно долго. Мать подозревала отца в неверности и совсем не стеснялась мне об этом говорить. И мы следили, надеясь поймать его с поличным. Подпольщик или разведчик из отца точно не получился бы. Мать была в ярко-оранжевой японской куртке, и заметно её, вероятно,

было даже из космоса. Но за час слезки отец хвоста не обнаружил. Он хаотично перемещался по Симферополю. Иногда останавливался у телефонов-автоматов, куда-то звонил, снова шёл. Не было в его блужданиях ни логики, ни смысла. По крайней мере, ни я, ни мать их не видели.

В самом конце этой шпионской истории, когда отец остановился у телефона-автомата, мы приблизились вплотную. Мать хотела подслушать разговор. Услышать мы интересного ничего не услышали. Да и у отца наконец-то сработали какие-то инстинкты: он обернулся и увидел сияющую неземным оранжевым светом на сером фоне ноября мать в японской куртке. Ну и меня рядом, невеликий довесок. Никаких внятных объяснений своих блужданий и звонков отец не дал. Сказал, что просто ходил, просто звонил. На этом, по-моему, всё и окончилось. И мы, по-моему, отправились домой.

Смысл и логику этого броуновского движения я понял, когда сам достиг возраста отца – тридцати с небольшим лет. Я и сам, выйдя с работы, ловил себя на мысли, что готов идти куда угодно, но не домой к жене и сыну. Не потому, что жена или тем более малютка-сын плохие. Нет. Просто я понимал, что мне уже тридцать, что жизнь проходит, что дом – клетка, сидя в которой, ничего не высидишь. Пустота на работе сменялась пустотой дома. А жизнь текла, текла и утекала. Дождь моросил, серое небо дышало безнадёжностью прямо в лицо. Помню, я тоже звонил кому-то из друзей. Но у всех были жёны, дети, заботы. Не знаю, возможно, они лучше переносили клеточность жизни. Пить в одиночестве я тогда ещё не выучился и поэтому бродил и звонил, бродил и звонил.

В юности, как мне говорили, отец писал стихи. Я не читал ни одного его стихотворения, знаю только, что несколько сборников Есенина были в нашей семье особенно чтимы и оберегаемы при переездах. Мне кажется, отец

всегда хотел быть поэтом. Или пусть даже не поэтом, но точно кем-то большим, чем майор советской армии в плащ-палатке под ноябрьским небом в Симферополе. Оттого и ходил без цели, и звонил неизвестным людям.

Через много лет после смерти отца выяснилось, что он потомок однодворцев – военизированных земледельцев, служилых людей особого сословия: не дворян, не крестьян, не помещиков. В мирное время – крестьяне, в военное – военные, однодворцы защищали южные рубежи России, были вольными, освобождались от телесных наказаний, имели право владеть землями и крепостными, но при этом платили подати, как обычные крестьяне. В дворянское общество их не допускали, но случалось, что обедневшие дворяне, даже родовитых фамилий, переходили в разряд однодворцев.

Известие, что в моей родне есть некие однодворцы, а может, и дворяне, несколько удивило меня. Я стал чуть более многомерен.

Однодворцы были довольно закрытым сословием. Родниться с крепостными им не позволяла гордость вольных людей, а дворяне, понятное дело, не горели желанием вступать в брак с людьми, чей уклад жизни мало отличался от крестьянского.

И странное дело, я ведь, сколько себя помню, всегда чувствовал со стороны отцовой родни некий холодок. Не потому, что они плохо относились ко мне, нет. Они просто были холоднее, чем родня по материнской линии, чисто крестьянская, беспримесная. Пребывание у отцовой родни я всегда воспринимал как тяготу и нагрузку. Жизнь у бабушки по материнской линии всегда казалась купанием в счастье и бесконечной любви.

Все мои предки – из села Сланского Липецкой области. Отцова родня жила рядом с кладбищем. Так близко, что

от ближайшей могилы стену дома отделяли ров и расстояние метров в пять. Присутствие потустороннего – от них. Любовь к природе, к жизни, к людям – от родни с материнской стороны, которая жила на прямо противоположном от кладбища конце села.

Человека формирует многомерность.

Алиса

Ночью пришла кошка. Та, что умерла десять лет назад. Наша первая кошка. Легла на грудь, принялась мурлыкать. Всё как всегда, если не принимать во внимание десять лет её небытия.

Смерти нет, говорила она. Я здесь, я с тобой. Смерть – враньё, смерти нет. Жизнь вечна. Врать не надо. Надо любить. Вот ты меня любил – и я пришла к тебе.

Как раньше, она перебирала лапами, серыми пушистыми лапами, и чуть царапала мою кожу.

Поджав передние лапы, она положила мне голову на грудь, как любимая женщина, как жена.

Мы с ней всегда хорошо ладили, с моей первой кошкой. Она полюбила моего сына. Наверное, и сейчас любит. Возможно, как и мне, является ему во снах.

Она сопит, как мой сын, – моя первая кошка...

Мы с женой нашли её в автобусе, когда ехали в первый наш с ней совместный поход. Предполагалось, что в нём, в походе, будем только она и я, но внезапно в него затесалась серая пушистая полукошка-полукотёнок. Алиса. Я назвал её так за те три дня, что мы походничали на берегу Шерны под столбами высоковольтной линии. Провода день и ночь шуршали со звуком, с каким раздвигает порошу.

Над землёй летали чайки, белые, шумные. Одна из них свила гнездо прямо на высоковольтной опоре, нависавшей над нашим лагерем.

Я часами сидел на коряге, остатке мощного дерева, лежащего прямо посередине реки. Смотрел, как течёт река, как колышутся водоросли в тёмной глубине, как кружит чайка, тревожно вскрикивая от неведомых полученных сигналов. Солнце палило, я сгорал на глазах, но всё равно не уходил с коряги.

Если бы Он однажды спросил меня, где бы я хотел провести вечность, первым я назвал бы Лягушачий пруд в Сланском, вторым – Коровий, там же, а вот третьим стала бы коряга посреди Шерны.

Случайно принесённая нами кошка, тогда безымянный котёнок, а потом Алиса, подолгу сидела на берегу и тоже смотрела на воду. Наверное, тогда я и понял, что это МОЯ кошка.

По утрам мы разводили костёр. Отыскивали в золе непотухшие угли, раздували их, обкладывая берёзовой корой и ветками ёлок. Потом я заходил в реку, доставал из прохладной воды лотки с куриными окорочками, к которым через тонкую обёрточную плёнку уже присосались несколько чёрных резиново-ловких пиявок, обрывал упругие ленточки и, не говоря ничего будущей жене, нёс окорочка к костру. Кошка-котёнок, будущая Алиса, всё видела и понимающе молчала. Надя вряд ли стала бы есть окорочка, которые до этого ели пиявки Шерны.

Всё только начиналось. Я только познакомился со своей будущей женой, я только что познакомился со своей будущей кошкой. Чайки, шелест электричества, течение реки, я сгораю на солнце...

Я глажу кошку, которой больше нет. Я чувствую каждый её коготь на своей груди, слышу каждый её вздох. Серая, пушистая, сибирская голубая.

Времени нет.

Осветитель

Осветитель – ничто, пыль под ногами гениев. Хорошо, пусть я пыль, но у меня есть голос, и я позволю себе сказать несколько слов.

Наша труппа – сплошь гении. Если судить по статьям в прессе. Нет, большинство из них и в самом деле неплохи в своём ремесле. Некоторые даже очень неплохи. Но!

За нашим театром идёт слава, что здесь умеют работать с талантами. И это правда. N, NN, NNN и ещё десятка два имён раскрылись именно в нашем театре. И лучшие свои роли они сыграли именно здесь. Я знаю это точно, мне есть с чем сравнивать. Я видел их всех потом в фильмах и сериалах. Неплохо, но не более.

Звёздами они стали именно здесь. В провинциальном театре города N. Здесь меняются режиссёры, худруки, заведующие литчастью, костюмеры, хореографы... Никто не замечает, что вечен здесь лишь я. И уж тем более никто не знает, что именно я раскрываю таланты и тащу на своих скособоченных плечах, одно сильно выше другого, славу и дух нашего театра.

Мы много работаем со светом. Мы работаем со светом так, как никто не работает. Ни Ла-Скала, ни «Глобус», ни Парижская Опера, ни Большой. Их осветители ничего не знают про свет. Ничего! Не знают, как малейшее колебание цвета способно изменить восприятие сцены. Малейшая перемена освещённости может самым радикальным образом изменить восприятие любой фразы, любого сюжетного оборота и любого психологического противостояния.

Я могу лепить из положительных героев негодяев, и наоборот, любую добродетель я могу выставить потаскухой, а любую потаскуху – Матерью Терезой.

Вы видите то, что освещаю я.

Режиссёр уверен, что он тут главный. Это верно лишь в малой степени. Он рисует канву, лепит хребет постановки. Остальное, и он об этом не догадывается, делаю я.

... Свет! Я вспоминаю себя трёхлетнего. Я кручу калейдоскоп, и магия происходит перед моими глазами: один за другим возникают узоры нечеловеческой красоты, идеально очерченные и идеально же выверенные. Я в восторге, я верещу и сучу ногами по дивану, направив калейдоскоп на окно. Движение, полудвижение, четвертьдвижение – и картина с лёгким, но удивительно чётким звуком меняется. С тех пор я знаю, что удар стекла о стекло чётко и звучен.

Я разбираю калейдоскоп. Каждый ребёнок хочет знать, из чего состоит чудо. Чудо калейдоскопа состоит из невзрачных стекляшек и трёх полосок зеркала, стянутых резинкой. Я катаю по ладони осколки бутылок – белые, зелёные, жёлтые, тёмно-янтарные, я видел такие на асфальте, в траве, и разочарование, смешанное с пониманием, что я проникаю в самую суть устройства Вселенной, нисходит на меня. Я сыпаю осколки бутылок обратно в пространство меж тремя зеркалами и устанавливаю крышку на место.

Всё. Части магического заклинания на месте. Калейдоскоп снова стал калейдоскопом. Слагаемые стали больше своей арифметической суммы. Слагаемые стали Вселенной, каждый поворот которой неповторим и уникален.

... Наш театр – тот же набор невзрачных стекляшек. Это я об актёрах. Посредственности, конформисты, рутинёры. Они скучны и в трезвости, и в пьянстве. Они – тоска. Часто ещё и очень глупая тоска.

Но спокойно. Вы в хороших руках. Ваш мастер знает, как сыграть эту роль за вас. Я подсвечу вас так и под таким углом, что части вашего лица наконец-то придут в гармонию друг с другом. Они у вас вечно играют вразнобой, но я-то знаю, как их примирить. Я знаю, как сделать вас

рассеянными, глуповатыми, загадочными, возвышенными, сумасшедшими...

Всего лишь свет. Всего лишь правильно пойманный план, правильно освещённый момент.

Я – серый кардинал этого театра. Когда режиссёр заканчивает репетицию и уходит, труппа остаётся, и мы отыгрываем каждую сцену заново. Ровно так, как назначил играть режиссёр, но именно так, как вижу её я. Режиссёр об этом не знает. Ну и в добрый путь.

Мы ищем цвет и угол падения света для каждого персонажа. Мы выверяем перемещения и насыщенность фильтра. Мы по сути делаем пьесу.

Наш мир – свет. Человек получает девяносто процентов информации от глаз. Я отвечаю за то, что увидят ваши глаза. Я делаю спектакль.

Иногда я из озорства решаю кардинально поменять роли персонажей. Случается, моя собственная игра производит такое впечатление, что критики, смотревшие один и тот же спектакль, но в разные дни, долго не могут договориться, считать ли того или иного героя положительным или же отрицательным, а игру X или Y гениальной или бездарной. По свету ходит немало актёров и актрис, которым я создал столь блистательную репутацию, что многие режиссёры до сих пор уверены в их большом, пусть и глубоко скрытом таланте.

У меня прекрасная работа. Подсвечивать куски битого стекла, чтобы они сложились в чудесный узор.

Я люблю своё дело. Моё дело – свет.

Ночь на реке

На ночёвку встали в Заречье. Есть там небольшая песчаная отмель, обрамлённая кустами. Вытащили байдарку.

Я, сын, жена втроём быстро поставили палатку. Сообразили ужин. Приехал друг на велосипеде, привёз дров. Посидели, чуть выпили. Обсудили всё на свете. Друг уехал ночью. Жена и сын улеглись спать. Я – полуночник, клиническая сова, заставить себя лечь спать не мог. Принёс дров, полазив по ближайшим кустам. Сел у костра и, понемногу подкидывая сухие ветки, смотрел на реку, поля, раскинувшиеся вокруг, на сонм звёзд над моей головой. Июнь, темнеет поздно, светлеет рано, но пара часов темноты найдётся и для сов вроде меня. Чуть дальше по течению реки, метрах в двухстах, сосновый бор – стройное устремление земли в небо. В бору храм с золотоголовой колокольней – резное чудо, возвышающееся над тёмно-зелёными ветвями. Наверное, самый красивый вид на Шерне.

В темноте колокольня видна смутно, но вот выходит луна, поднимается над рекой и полями, заливает мир бесплотным прозрачным светом. Золото колокольни играет в лунном сиянии, луна отражается в золоте купола, тёмном стекле реки. Лунная дорожка идёт по руслу. Говорят, если поплыть по лунной дорожке, можно приплыть к счастью. Сейчас, в полночь, в это верится особенно легко. Я бы поплыл, я уже плавал, но в палатке спят сын и жена, самые дорогие для меня люди. Куда я от них? Можно, конечно, разбудить их и позвать в плавание к счастью, но, боюсь, они не такие романтики. Особенно спросонья. Я играю прутиком, шевелю переливающиеся всеми оттенками красного угли, вдыхаю дым костра, может быть самый любимый мой запах.

Луна плавно путешествует через небо с поплёкшими в её свете звёздами. Луна большая, как воздушный шар, на ней проступают тёмные пятна – лунные горы, моря и кратеры.

В чём загадка луны? Откуда у неё эта власть над нами? Солнце греет нас, даёт свет, но луна, не давая, по сути, ни того, ни другого, тем не менее имеет над нами тонкую сумеречную власть.

Со стороны храма шум. Что-то доносилось оттуда и раньше, но сейчас шум всё настойчивей и ощутимей. Людские голоса, много голосов. Нет, это не из храма, он в такой час закрыт, это из прихрамовых построек. Как там называются хозяйственные постройки при храмах?

Голоса, много голосов. По-моему, не очень трезвые, но точно доброжелательные. И вот я слышу пение хора. Поют «Ойся – ты ойся...» Казачья песня. Поют хорошо, раскладывают на партии. Хор смешанный, я слышу и мужские, и женские голоса. Я люблю эту песню, я бы даже подпел, но рядом спят сын и жена.

Песня разносится далеко. Вода – хороший проводник звука. Думаю, хор слышен каждому, кто находится на берегах Шерны на несколько километров вверх и вниз по течению.

Поют много, почти не переставая. Короткие перерывы я связываю с моментами, когда надо налить и произнести тост.

Похоже, в местный ДК по приглашению святых отцов приехал некий хор. Днём они спели положенную программу в ДК, потом отправились ужинать в трапезную при церкви, и теперь я в некотором смысле присутствую при том, что последовало за вечерней трапезой.

«Парней так много холостых, а я люблю женатого», «Едут, едут по Берлину наши казаки», «Напилася я пьяна». И вот совсем неожиданно для посиделок при храме: «Выпьем за Родину, выпьем за Сталина». В душе я коммунист, и я с ними. Я улыбаюсь и вскидываю в знак поддержки вверх, к луне и звёздам, руку. Интересные там святые отцы, с симпатией думаю я.

Хор не умолкает, снова что-то казачье, потом военное. Слышно, что хор пьян, но мастерство не пропьёшь.

В поля выползает туман. Светает. Туман лежит пеной, струями, волокном. Он бесплотен, налитан луной, он тонок и волнителен. Он движется над рекой, дышит, закручивается водоворотами, струится. Я люблю туман.

Небо бледнеет, исчезают звёзды. Луна превращается в бесплотный призрак. Утро.

Костёр дышит теплом и окружён белёсым, лёгким, как невесомость, пеплом. Я дую – и пепельное облако взлетает вверх.

Хор всё ещё поёт. Я откидываюсь на спину, смотрю на небо. Небо огромно, холодно и... И, наверное, приветливо.

Лежу. Вокруг туман. Трава в росе. В палатке сопят жена и сын. Со стороны храма доносятся песни. Луна торит дорогу через небо. Идёт, не оставляя следов. Всхлипывает, растроганная красотой, река, омывая песчаный берег. Борт байдарки в росе. На вёслах бисер капель. Мне хочется взлететь и больше не возвращаться. Но здесь самые дорогие для меня люди. И потому я останусь с этой травой, рекой, байдаркой, палаткой, соснами, колокольной над ними. С этим небом, луной, звёздами, потускневшими в сиянии ночного светила. С перепёлочьей перекличкой, плеском рыб – щук? окуней? – возле самого берега. Я навсегда останусь с этими песнями, с углями костра, с утренним ветром, с туманом, окутывающим зябкой шубой поле и реку. Я буду с вами всегда, у меня больше нет ничего. Я отсюда, я с вами, я без вас никуда.

Я хочу кричать перепелом, плескаться щукой, петь с хором, но я молчу, потому что мне кажется это самым правильным и высоким поведением. Я молчу, но я весь песня, хор, хохот, восторг.

Там Полярная, тут Шерна, там храм, здесь лодка и палатка. Мир устроен красиво и мудро.

Утром мы проснёмся, свернём наш нехитрый быт и поплывём дальше. И всё будет прекрасно. Прекрасно настолько, насколько это вообще только возможно.

Против шерсти

Пробовали гладить кошку в темноте против шерсти? Видели искры, вырывающиеся из-под руки? Очень красиво. Так сидел бы и смотрел, гладил и гладил. Плохо то, что кошки не любят, когда их гладят против шерсти. Но тут уж приходится выбирать – либо красиво, либо по шерсти.

У меня интересная жена. Я долго выбирал. Внешность на любителя. Я знаю, многие любят сов. Она отчасти похожа на сову, круглая голова, глаза немного навывкате, нос... Да, есть в нём что-то от клюва. Нет, не красавица. Но лицо интересное. К тому же актриса, а в этой профессии лицо интересное ценится куда выше красивого. Красивых много, интересных – единицы. У моей жены много интересного. Например, лобок она красит в ярко-рыжий цвет, но, надеюсь, об этом знаю только я. Хотя... актриса же... Сексуально раскрепощённая страта общества. Что тут скажешь? Я сам тоже не ангел. Остаётся только смиренно надеяться на её верность.

Утро. Я мрачно завтракаю. Ну, как мрачно?.. Бывал я и помрачнее. На кухню входит жена, в соцсетях известная как Арвен Кецалькоатль. Кецалькоатль зевает. Вчера пришла поздно – засиделись после спектакля. По телефону сказала, обсуждали новую постановку. Подозреваю, что просто бухали. Я не дождался, лёг спать. Не увидев ничего рыжего и солнечного.

– Что вчера? – спрашиваю я, ковыряя омлет.

– Что? – пожимает она плечами. – Хотим поставить новую пьесу, но... Там всё сложно.

– Да брось ты! Что может быть сложного в вашем любительском балагане? – говорю я с набитым ртом.

С набитым, чтобы подчеркнуть, как я ценю их потуги в искусстве.

– Я там произношу монолог на эльфийском...

– Ну, это, по-любому, в анналы театрального искусства...

– ...и монолог на дотракийском, – заканчивает она.

– Ты даже не представляешь, как тебе повезло.

– Почему?

Она громыхает, разбирая гейзерную кофеварку.

– Открой, – суёт кофеварку мне.

У меня сильные руки. Я раскручиваю металлические песочные часы, в которых мы варим кофе.

– Если б эльфы или дотракийцы реально существовали, они бы закидали тебя и твоих халтурщиков яйцами и прелыми яблоками.

– Хам и дурак!

Ты засыпаешь кофе в нижнюю часть песочных часов.

– Когда ты имитируешь эльфийский, ощущение, что я слышу армянский. Кстати, однажды вас на этом основании может прижать наша местная армянская мафия.

Ты в майке до середины бёдер. Поднимаешь одну ногу и устанавливаешь пятку на колено другой. Я сижу за столом спиной к тебе, но вижу твоё отражение в полированной металлической сахарнице.

– Я посмотрел выступление Шпультман по той ссылке, что ты скинула.

Ты собираешь кофеварку и не реагируешь.

– По-моему, она типичная инфоцыганка для девочек и скрытая русофобка.

– Она не русофобка.

– Она либералка. Все либералы в России русофобы по определению.

– Что за бред!

– Окей. Назови мне российского либерала-русофила – и обещаю целый год ходить на постановки вашего балаганчика бездарей.

Ты молчишь, лишь нервно дёргаешь плечом.

– Ты не находишь, что кошки и совы похожи? – спрашиваю я.

– Смотри, как скачет твоя мысль, от либералов ты перекинулся к совам совершенно без перехода.

– И что?

– Подобная разорванность мышления свойственна шизоидам.

– Ну, тут уж извини. Откуда ты знаешь, какими ассоциативными тропами ходит моя мысль?

Я сохраняю полнейшее спокойствие и с противным скрипом гоняю серебряной вилкой по тарелке остатки омлета.

Раздаются щелчки искр, ты зажигаешь огонь под кофейником.

– Шпульман не русофобка, – говоришь ты.

– Русофобка она скрытая, а вот инфоцыганка вполне явная, – говорю я. – Ты видела, с каким обожанием смотрят на неё дамочки в зале? Они кивают в такт её словам: «Мы слушаем тебя, Каа».

– Они просто согласны и мыслят в одном ключе.

– Да какой это ключ... Канализацию прорвало.

Ты поднимаешь голову вверх и, думая, что я не вижу тебя, мотаешь головой с интонацией «нет, ну, что ж за тварь».

Искры ещё не летят, но уже скоро, скоро.

– Пьявчих, это та, которая...

– Я знаю, кто такая Пьявчих! – огрызаешься ты.

Я знаю все твои болевые точки.

– Да, та, которая доставила в МИ-6 якобы отравленные трусы Обвального.

– Обвального отравило ФСБ! – топаешь ты ногой.

– Или ФСБ, или МИ-6. Второе вероятней, учитывая, что Пьявчих сейчас в Англии под крылом английской разведки. –

Я с сожалением скрипнул вилкой по тусклой тарелке, рисуя британский флаг.

– Пьявчих там, где ей безопасней! Учитывая, что ФСБ готово убивать неудобных на всех континентах.

– Конечно, «смотри, деточка, это два титана двадцать первого века – Петров и Боширов».

– Кремлёвские петрушки.

– Петрушки – это твой театр. И монологи твои – они не на эльфийском и не на дотракийском. И даже не на армянском. Это язык петрушки. Давай я закажу для тебя на «Озоне» большой красный нос для органичности образа. Тебе пойдёт.

По лицу твоему пробегают судороги. Вот они, искры. Кофе в кофейнике фырчит и скворчит.

– Вы же живое надругательство над театром! Глупо, скучно. Хоть с дотракийской точки зрения, хоть с армянской. Живи вы в Средневековье, настоящие актёры сожгли бы вас за дискредитацию профессии. Нет, ну а что ты хотела? У вас половина трупы не выговаривает «р». Это же катастрофа!

Она увидела моё отражение в сахарнице и теперь, не отрываясь, смотрит мне в глаза, то кусая губы, то играя желваками.

– Да вы же там через одного логопедические уродцы! Остальная половина просто уродцы. Во всех смыслах. В движении, в умении подать себя. А эта влюблённая парочка косоглазых? У него вправо, у неё влево. Или вы,

может, надеетесь, что у них получится ребёнок с прямыми глазами, и держите их на племя?

Кофейник плюётся кофе, но она не слышит этого. Руки её вцепились в столешницу, она смотрит на меня, и искры летят во все стороны. Запах горящего кофе заполняет кухню.

Твоя правая рука опускается и комкает край футболки, ощущение, что пальцы сейчас порвут ткань на нитки. Край футболки ползёт вверх. Неосознанно, ты сейчас не думаешь об этом, ты сейчас вообще не думаешь. Ты искришь. Это очень красиво. Давай, киска, давай...

– Переименуйте в инвалидное общество или дом при зрения, глядишь, перепадёт грант от государства. А как театр вы неинтересны...

Ты бьёшь меня в плечо, в затылок. Я вскакиваю, оборачиваюсь, хватаю тебя за запястья, опрокидываю на стол. Сахарница летит на пол.

Рыжее, солнечное...

Стол бьётся о стену. У него стеклянная столешница, и я переживаю, что она разобьётся...

...Отрываемся друг от друга. Купаемся в запахах, влажности друг друга, в остатках одежды. Задышающаяся нежность. Глаза плавают, хочется пить.

Кожа на шее самая нежная. Рука скользит за ухо... Твой лоб на моём плече...

– Однажды мы разобьём этот стол, - говоришь ты со смешком.

– Не сегодня.

Твой нос скользит по моей шее.

– Надеюсь, мы не разбудили дочку? – устало шепчешь ты.

– Если б разбудили, уже пришла бы.

– Пошли в ванну. Помоешь меня?

Мы обнявшись идём в ванну, стараясь не шуметь, потому что рядом спит дочь.

Сюр

Сюр прекрасен. Тот, что без намёков на трансцендентальность и мистику. Обожаю.

Две надувные байдарки. То ли четверо, то ли пятеро бездельников. Самое начало мая. Вода ещё такая высокая, о которой потом, в июне или июле, глядя на характерные отметины на стволах деревьев, только и можно будет воскликнуть: «Ого!» Шерна – река почти каньонного типа. На многих участках своего маршрута протекает меж крутых берегов, каждый из которых, но чаще левый, может возвышаться над водой метра на два. Так вот, в апреле – начале мая Шерна превращается в реку совершенно равнинную, совпадающую с уровнем своих берегов.

Плыть по высокой воде – дело интересное. (И да, я настаиваю: в отличие от морских волков, мы плаваем.) Интерес в том, что если летом ты по большей части рассматриваешь прибрежные кусты и деревья да глинистые берега с изредка попадающимися норами неизвестных созданий, то по высокой воде берег уже не загораживает тебе вид, ты сидишь королём и с горделивостью сокола или иного мелкого хищника озираешь окрестности. Смена точки зрения всегда интересна. Именно это, как я думаю, помимо материального фактора заставляет сынов человеческих штурмовать карьерные лестницы. «Высоко сижу, далеко гляжу», как сказала Маша, даже не представлявшая, что такое карьерная лестница.

Плывём. Те, у кого есть тяга к разговорам, болтают. Время от времени стукаемся походными стопками из нержавеющей стали. Солнце пригревает. Кто-то, красиво раскинув крылья и застыв в этой фигуре танца, кружит над нами. Весеннее солнце ласково, как невеста. Молодо, глупо, чувственно. Я не люблю разговаривать, я лежу под солнцем, иногда открывая глаза.

Соратники бубнят чуть более встревоженно, чем обычно. Выпрямляюсь, сажусь. Мы посреди огромного озера с едва видимыми берегами.

Где мы? Шерна не впадает в озёра. Шерна в самом широком месте достигает метров пятидесяти. Или нас, пока я следил за полётом сокола в чистом, будто лёд, небе, вынесло в Оку, затем в Волгу, а затем в Каспийское море? Мы в море? Что за сюр! Но мы действительно посреди огромной воды, и берег едва угадывается. Опускаю весло, глубина – сантиметров пятнадцать. Ясно. Вода поднялась и залила луга вдоль русла.

Надо куда-то плыть, но куда? По наитию гребём в одну сторону, потом в другую. Нет... Мы потеряли русло. Дно лодки то и дело цепляет прошлогоднюю траву, а то и просто землю, чуть укрытую вышедшей из берегов Шерной. Мы бросаем вёсла, надеясь, что течение вынесет нас к руслу, но течения нет.

Сюр. Мы вроде бы в реке, но река нас не несёт. Мы вроде бы на суше, но здесь не развести костёр и не поставить палатку. Даже грести получается с трудом: дно лодки царапает землю. Мы внутри загадки: «он не в воде, но и не на суше, не потерялся, но и не знает, где он». Мы в Зазеркалье, между водой и сушей, между путешествием водным и сухопутным.

Всё кончилось хорошо. Пометавшись по водному простору, решили плыть к столбам высоковольтной вышки. Вспомнили, что река проходила под ними. Доплыли, а уж там, сплавав вправо-влево, нашли русло. Вёсла ушли под воду на всю длину, мы рявкнули что-то нецензурно-радостное, отпраздновали событие звоном стаканов из нержавеющей стали и продолжили безмятежное странствие под присмотром мудрой мамки-Шерны.

Сюр, устроенный природой, отличается от сюра человеческого. Примерно как река отличается от человека.

Плывём. Ленивые, расслабленные двухдневным отдыхом. Места безлюдны и тем прекрасны. Знаете, если вы идёте по реке, машины, мангалы, палатки, да даже дети, играющие с собакой, не вызывают никакой симпатии. Вы и река – момент интимный, посторонние тут совсем ни к чему. Даже домашняя собака на берегу – лишняя деталь в пейзаже. Разве что для кошек я сделал бы тут исключение. Но мы выбрали участок, на котором нет сёл, нет даже мест, удобных для подъезда на машине. Мир без людей – сюжет донельзя привлекательный.

Плывём, валяемся, тюленим. И вдруг – стук. Металл по металлу. Но негромкий, без отчаянности. Тихий, домашний стук металла по металлу.

Как по команде, приподнимаемся. Ничего. Но тут мы выплываем из-за кустов и видим огромную пустую поляну с высокой берёзой посередине. От нас до берёзы метров сто. У берёзы стоит оконная рама. Высоченная, метра два, крашенная белой краской. Вокруг ни села, ни дома, ни иного признака цивилизации. Только двухметровая рама и стоящий возле неё человек, постукивающий по ней молоточком. Словно аккуратно загоняет гвозди в штапик, удерживающий стекло в раме.

Мы плыли молча, не отрываясь глядя на раму и человека. И тут он, повинувшись неизвестно какому чувству, обернулся, увидел нас и спрятался за берёзу.

Мы проплыли мимо, кусты скрыли от нас раму и странного человека. Вскоре мы снова услышали звуки, с которыми человек обстукивал штапики, крепящие стёкла в рамах. Звуки по реке распространяются далеко.

На километры вокруг не было ни единого строения.

Номерные радиостанции

Номерные радиостанции... Знаете, что это? Нет? Но о том, что вокруг нас есть радиоэфир, который кипит от передаваемой информации, музыки, болтовни, вы хотя бы знаете? Подозреваю, что да. В основном благодаря автомобильным приёмникам, которые играют музыку, пока вы стоите в пробках.

Но радиоэфир, как, впрочем, и всё, что бы мы ни взяли, сложнее и интереснее.

У меня есть приёмник, позволяющий прослушивать диапазон коротких волн. Именно в этом диапазоне и работают номерные радиостанции. Считается, что в основном это радиостанции шпионские или, как вариант, принадлежащие наркомафии. То, что они передают, очень странно, очень просто и оттого завораживает. Обычно это набор цифр, произносимый безжизненным женским голосом. Язык может быть любым, но чаще английский. Иногда сообщения сопровождается обрывками мелодии, как у легендарной в своём роде радиостанции «Lincolnshire roacher» – «Линкольнширский браконьер». Она выдаёт несколько тактов одноимённой песенки, затем ровный безэмоциональный голос произносит числа на английском. Ещё одна радиостанция использует такты из «Oxygen» Жана-Мишеля-Жарра.

Отследить, откуда вещает радиостанция, очень сложно, отследить получателя информации невозможно в принципе.

Меня завораживает осознание, что кто-то в каком-то уголке земного шара, услышав эти ряды чисел, заведёт мотор машины или двигатель корабля. А может, зарядит пистолет. Или отдаст приказ выдвигаться танковой колонне. Возможно, кто-то, услышав и записав те числа,

просто пожмёт плечами, заглушит двигатель, спрячет пистолет в ящик стола и отправится спать. Может, в Стокгольме, может, на Гавайях, где горы и натянут гамак меж пальм. А может, в Северодвинске кто-то расшифрует эти ряды чисел и пустит себе пулю в лоб. Или достанет один из фальшивых паспортов и начнёт новую жизнь, но уже в Москве или Красноярске-26. Возможно, это сигнал к подрыву железной дороги меж Майами и Орlando. Но не исключено, что кто-то, выключив приёмник, расчешет волосы на идеально прямой пробор и отправится в индийское посольство соблазнять жену консула. А для кого-то это будет сигналом продавать акции или скупать южноафриканские алмазы.

Пустота в голосе заставляет вздрагивать фантазию.

Во время августовского путча 1991 года некая радиостанция, предположительно связанная с Советским Союзом, передавала в эфир серии из пяти пятёрок. Что это значило? Был ли то сигнал военным округам быть готовыми к выступлению или же, наоборот, приказ не двигаться ни при каких обстоятельствах? Интересно, а если бы в эфир пошла серия из пяти шестёрок, история СССР и мира могла бы пойти по-другому?

Я кручу ручку настройки приёмника. Вспыхивает светодиод, означающий уверенный приём. Слушаю ряды цифр на английском, испанском, французском, на языках, которые я и близко не могу идентифицировать. Эфир кипит. В пространство несутся сигналы, приводящие в движение тайные пружины мироздания. Кажущаяся бессмысленность придаёт каждому сообщению смысл глобальный. Чьи уши ловят эти сигналы вместе с моими? Чем грозит каждое из чисел стране и мне лично? Какие диверсии или убийства они запускают? Страшно, волнительно. Ощущение, что слушаешь переговоры инопланетян.

Перед глобальными событиями коротковолновый эфир вскипает от активности номерных станций, приводятся в действие невидимые и видимые рычаги. Обрываются и сохраняются жизни. Ломаются благосостояния одних стран, кривые сытости других возносятся до небес. Взрываются нефтяные вышки, наносятся удары по инфраструктуре, отплывают корабли, в трюме которых среди безобидной пшеницы спрятаны тонны кокаина или компоненты ядерного оружия.

Возможно, я слышу сигналы, означающие мою гибель или же, наоборот, гарантирующие моё безбедное и легкомысленное существование. Боги этого мира разговаривают в том числе и языком номерных радиостанций. Страшно? Да. И потрясающе интересно.

Я смотрю на красный светодиод приёмника. «One, zero, eight, seven. One, zero, eight, seven. One, zero, eight, seven...» Женский механический голос. Чем-то похожий на голос судьбы.

Две старухи

За день она почему-то была спокойна. А вот ночи не доверяла. Была уверена, что если и прилетит, то только ночью. А ночью у неё бессонница. Хорошо совпало. И у её кошки Матрёны, которой лет уже было не то пятнадцать, не то двадцать, совсем старуха по кошачьим меркам, тоже была бессонница.

Когда над неприметным селом Войковым, видимым только на очень подробной карте района, небо темнело до антрацитового совершенства, бабка Лапанальда, за имя особая благодарность родителям, выходила из дому, неся в одной руке икону Богородицы, в другой палку, на которую опиралась.

За последний месяц на Войково упало ровно три снаряда. Один в самую середину Плачёва пруда. Вторым прилетел в центр села, где, как по заказу, кроме автобусной остановки, основательной, бетонной, ничего не было. Остановке досталось, но бетонная же, выстояла. В окрестных домах только стёкла задребезжали. Третий снаряд пробил купол и взорвался внутри храма. Раньше строили на века – осколки изрубили внутреннее убранство, но стены выстояли. Стёкла, правда, вылетели. Дело было ночью, в храме, понятное дело, никого.

В селе шестнадцать домов. Молодому обойти его – минут сорок. Если шустрый и в спортзал ходит. Остальным – час. Бабке Лапанальде – забота на половину ночи. Для иных, кому под девяносто, и из комнаты в комнату перейти – уже марафон, а тут вокруг деревни обойти. Но управлялась, до света успевала.

В правой руке икона, в левой палка, на лбу фонарь. Аккумуляторный, внук привёз, сказал, тысячу лет прослужит. Два уже служит, там посмотрим. В правом кармане фартука портрет Сталина, в левом – Горбачёва. Сталина она уважала, Горбачёва жалела. Несчастный он, говорила соседкам.

Когда темнота давила последние отблески зари за логом, Лапанальда сходила по ступеням крыльца, включала налобный фонарь, чьи резинки тремя полосками охватывали голову, и отправлялась в поход.

Кошка Матрёшка, с бесконечной печальным выражением на морде, покрытая клочковатой линяющей шерстью, выходила следом, и скромная процессия отправлялась в ночной поход.

– Совести у вас нет. Да и не было никогда, – говорила Лапанальда, указывая клюкой на спящие в зарослях вишен и черёмух дома. – Но спасти вас, ..ядей, надо. Надо...

Она шла через луга, опоясывающие Войково. Её тяжёлая юбка заставляла ложиться луговые травы, и престарелая кошка могла, пусть и с трудом, перебираться через них.

Но силы старушки-кошки совсем невелики. Скоро она начинала попискивать, потом пищать, потом голосить противным глубоким басом.

– А мне, Матрёш, думаешь, легко? Это хорошо – не первую ночь тут ходим, хоть немного траву потоптали. Правда, к утру всё одно поднимается. Пошли, Матрёш...

И они идут, две старухи, через чернозёмные высокие травы. Ковыляют как могут. Лапанальда крестится, кошка мяучит.

Когда вопли кошки становятся совсем уж безысходными, Лапанальда не выдерживает, кричит:

– Да уж сидела бы дома! Дура старая! Нету сил – чего попёрлась? Лежала б себе на соломе. Зла на тебя нет! Но, ладно, давай, постоим, раз устала.

Лапанальда и сама устала, она кладёт икону на траву, сгибается, опускает голову на ладони, обхватывающие палку.

Кошка подходит, ложится, опираясь спиной о валенки Лапанальды. Внезапно нападает сонливость, но старуха понимает – раз уж ввязались, надо идти до конца.

– Подъём, поленница!

Она слегка толкает валенком ребристое тело кошки. Кажется, что ноги старухи даже через войлок чувствуют каждый позвонок сухого кошкиного туловища.

– Вперёд, вперёд, – говорит Лапанальда и рифмует: – Пусть нас кошка задерёт.

Старуха трогается с места, за ней идёт пожилая кошка когда-то тигровой, а сейчас неопределённой, какой-то очень утомлённой масти.

Лапанальда, прежде чем возобновить поход, целует Богородицу, потом, доставая из карманов фартука, поочередно целует портреты Сталина и Горбачёва. Крестится и, опираясь на ореховую, вырезанную внуком палку, отправляется дальше.

На пути овраг – самая сложная часть пути.

Лапанальда подхватывает Матрёшку в руку, где уже зажата ореховая палка, и начинает спускаться.

– Хорошо хоть фонарь есть... – говорит Лапанальда и, запутавшись ногой во вьюнке, падает.

Она, охая, катится вниз, теряет по дороге икону, палку, кошку. Под конец падения почти теряет сознание.

Открывает глаза. Фонарь на лбу светит. Она обводит своим циклопым глазом склон, видит спускающуюся к ней кошку, видит почти у самых ног палку. Долго ищет икону, находит и отправляется по дну оврага.

Рядом журчит ручей. Лапанальде нравится этот звук. Она останавливается, умывается, крестится на небо над оврагом, складывает ковшиком ладонь, зачерпывает, поит кошку. Та сначала недоверчиво обнюхивает воду.

– Пей, дура глупая, – говорит ей Лапанальда и пихает в затылок, подталкивая к воде в ладони.

Кошка пьёт, ждёт Лапанальда. Потом выплёскивает остатки воды:

– Хватит. А то до утра тут зазимуем.

Они снова идут.

Кошка мяучит недовольно и жалостливо. Снова останавливаются, только теперь уж Лапанальда не остаётся стоять, а садится прямо во влажную овражью траву. Устраивает на коленях старую дуру-кошку.

– Ты, Матрёна, дура, каких свет не видывал, – терпеливо объясняет она ей. – Куды ты попёрлась? У тебя не сегодня-завтра глаза повылазят и хвост отвалится, а ты за

мною тынешься. Ладно, я пока в силе, могу тебя понести, а завтра совсем обезножу – что будешь делать?

Кошка что-то отвечает. Кошки, особенно долго прожившие с людьми, ответливы.

– Дура ты, Матрёха, – говорит Лапанальда и смотрит в темноту. – Дура, каких свет не видывал.

Потом наклоняется к кошачьей спине:

– И я дура. Дура дурацкая. Что я тут делаю, дура дурацкая? Это ведь я от бессонницы. Чтоб не спать. Что я тут делаю? А? Матрёш? Что, а?

Плечи старухи вздрагивают. Чёрные плечи оврага, заросшие мрачной ночной травой, нависают над двумя старухами.

Переключка перепелов несётся над полями, ночные кузнечики тревожат тишину. Где-то очень далеко вздрагивает тишина грузными отзвуками взрывов.

– Господи, сохрани всех обитающих в этом селении от железа разящего и глаза смотрящего. Хотя, знаешь, Уласа можешь бить. Да и Дерябу бери, если уж так Тебе надо... Дождей пошли, картошка сохнет. Кольке, сыну, помоги, уголь обещал привезть...

Лапанальда, не вытирая слёз, долго смотрит вдаль, где темнота чуть разбавляется розовыми отсветами.

– Я, кажись, ногу сломала, – говорит Лапанальда Матрёне. – Так что не смей мне тут ныть. Поняла?

Старуха откладывает в сторону кошку, поднимается, опираясь на палку:

– А может, и не сломала...

В левой руке икона, в правой палка, в одном кармане Сталин, а несчастного Горбачёва она потеряла, когда падала со склона оврага, и будет долго потом жалеть.

Обойдя вокруг села, домой они вернутся, когда запоют первые петухи.

Это маленькое село.

С котятami через шоссе

Дорогой читатель, представь себе кошку, переходящую автомобильную трассу посреди Москвы. Это старая кошка с огромным брюхом. Огромным потому, что под тигровой шкурой, туго обтягивающей её пузико (не люблю уменьшительно-ласкательные суффиксы, ну да ладно), ворошат лапками и открывают крошечные пасти четыре котёнка тигровой масти, совсем готовые к рождению.

Кошка знает об этом желании детей и потому торопится как может, а может она очень и очень медленно.

Лето, асфальт горяч, подушечки лапок словно на раскалённой сковородке.

Кошка сходит с тротуара и выходит на проезжую часть. Котята возятся, как дети, играющие под одеялом.

Старушка вздыхает и начинает переходить шоссе. Три полосы в одну сторону, три в другую.

Она устала, она просто хочет домой. Третий этаж пятиэтажной «сталинки» на той стороне проспекта.

Не зная страха, чувствуя только боль и скорые роды, маленькая кошка выходит на огромный, расчерченный белым пунктиром проспект.

С первым рядом сразу очень повезло. Она совершенно беспрепятственно пересекает полосу, потому что там образовался разрыв. Длинный, такие тут бывают нечасто.

Водитель серой «дэу», едущий по второму ряду, увидел кошку, когда она только ступила на асфальт проезжей части. Он затормозил, он встал, несмотря на протестующие сигналы сзади. Он глянул на свои руки, лежащие на руле, поднял средние пальцы и остался доволен зрелищем.

– Иди, иди, котёнка, – сказал он, пусть его никто и не слышал.

Кошка перешла вторую из шести полос и остановилась на белой линии. Обвела плохо видящими глазами

окружающую смесь чёрного камня и движущихся разноцветных пятен.

Ей бы очки, старой кошке, но кошкам, даже старым, очки не положены.

У Стивена Кинга есть повесть о животных, сбитых на шоссе.

Кошка дышит глубоко, часто, пасть её открыта, язык чуть свисает, она смотрит вправо, влево, но на самом деле мало что видит. Склонив голову и почти уперевшись носом в асфальт, она некоторое время то ли дремлет, то ли отдыхает. Потом поднимает голову, оглядывает место, куда занесла её нелёгкая. Она понимает, что не всё тут ладно, и останки голубя, расплющенные до бесплотно-тонкого состояния, – лучшее тому подтверждение.

Дети играют под кожей. Живот ходит волнами. Знали бы малыши, в какой отчаянной ситуации они сейчас находятся... но благословенно незнание невинных.

Пересекая третью полосу, кошка заметила игру солнечных лучей на лобовом стекле новенькой легковой «вольво», присела, прижалась к асфальту и тем спасла себя и ещё четыре неначавшиеся жизни.

При пересечении четвёртой линии, ржавый, будто изъеденный гусеницами, неопределённого цвета «жигуль» пролетел совсем рядом с ней, выдрав несколько шерстинок из её роскошного, как в молодые годы, хвоста.

Едва она сунула нос на пятую полосу, как проносющийся мимо спортивный «мерседес» оттяпал у неё шесть усов из полутора десятка имевшихся.

На пятой полосе её сбили. Ну почти. Колёса большегруза, огромного, так что в его просторах можно было бы разместить население целого городка, одно за другим прошли около неё, кидая её от колеса к колесу. Не приведи никому оказаться под брюхом большегруза, прущего на скорости. Её кидало, как белку в излишне

раскрутившемся колесе. Котятам внутри неё было чуть проще, котята были внутри кошки.

Бесшабашные, злобные, игривые воздушные потоки швыряли её под днищем автотрака. Она была так потрясена, что не издала ни единого звука. Ей было страшно, она решила, что пришёл конец.

Когда большегруз уехал, оставив на асфальте пухлое тело кошки, над шоссе установилась тишина. Где-то далеко светофор оборвал поток машин, рассекавших воздух над шоссе. Транспорт встал. Казалось, встал весь город.

Старая кошка поднялась на ноги, прислушалась к ощущениям внутри себя. Каждого из детей она чувствовала так, как не будет чувствовать их больше уже никогда, даже когда они будут лежать, уткнувшись в соски на её животе.

Молоко закипает в сосках, и это больно.

Кошка медленно пересекает последнюю полосу перегруженного и днём, и ночью шоссе.

То, что ей удалось, чудо.

Но мы же знаем, мир полон чудес.

Тридцать третий год. Берлин

Тридцать третий год. Берлин. Маленький Игорёк сидит на коленях у матери и смотрит на пожар. Через боковое стекло хорошо виден большой дом. Из окон дома вырывается пламя. Поздний вечер февраля, огонь озаряет всё вокруг, тени играют на домах, на затылке отца, сидящего за рулём, на мамином лице. Мама смотрит на пожар с интересом и затаённой тревогой.

– Мама, что это?

– Это, Игорёчек, пожар.

– Пожар... – раздумчиво тянет трёхлетний человек.

– Да, дом горит.

– Дом? Чей?

– Ну, как тебе сказать?..

– Это Рейхстаг, – говорит отец, поворачиваясь вполборота, но продолжая следить за дорогой. – Это, видишь ли, дом, в котором сидят главные люди этого города и этой страны. Понимаешь?

– Они тут живут?

– Нет. Они туда только на работу приходят.

– И куда они пойдут завтра?

– Не знаю, придумают что-нибудь.

Впереди появилась фигура, коричневая, как медведь, с которым спал Игорёк.

Папа остановил машину, открыл дверь, вышел. Сквозь стекло слышались голоса папы и неизвестного человека, одетого, как медведь. Говорили на грубом, похожем на ругательства языке.

Игорёк встал на сиденье, подошёл к окну и, расплывшись носом о стекло, посмотрел на человека-медведя. Тот держал в руке документы и смотрел на папу. Челюсть «медведя» двигалась, словно он хотел папу съесть. Игорёк стукнул по стеклу и скорчил страшную рожу. Страшную... Он так думал.

– Игорь, что ты делаешь? – осуждающе сказала мама.

Она видела только затылок сына, но шестым чувством уловила, что происходит какая-то шалость.

– Он бом-бом, – сказал Игорёк.

«Бом-бом» на семейном жаргоне означало «дурак». Человек-медведь сразу не понравился Игорю.

– Там дом горит, а ты чего не тушишь? – стуча по стеклу, спросил Игорь.

Пётр Аронович Золотусский, еврей, сотрудник внешней разведки СССР, улыбался человеку в коричневой форме максимально спокойно и располагающе.

«Медведь» снова пролистал документы, в которых было сказано, что он видит перед собой сотрудника советского торгового представительства. Сапоги «медведя» были начищены, но уже чуть покрыты пылью.

Игорь ещё плотнее прижался к стеклу, высунул язык, свёл глаза к переносице. В зеркале такая рожица впечатляла его больше остальных.

На сапогах, пряжке ремня, кольцо на пальце «медведя» играли отблески пламени Рейхстага.

Игорь трещоткой простучал по стеклу. «Медведь» наконец-то отвлёкся от папы и посмотрел на него. Игорёк скосил глаза к переносице:

– Бом-бом!

– Игорь, хватит! – прикрикнула мама и усадила его рядом с собой.

Пожары российской Гражданской войны были всё ещё живы в памяти, и теперь любой большой огонь выводил её из равновесия.

– Сядь!

Она усадила сына возле себя, обняла так, что не вырваться.

Немец скользнул взглядом по опустевшему окну и вернул документы. «Мерседес» поехал дальше.

Рейхстаг горел.

В поджоге обвинили коммунистов. Меньше чем через месяц в Дахау для коммунистов и евреев создали первый концлагерь.

В тридцать третьем году Германия была в хороших отношениях с Советской Россией. Но что было бы, удержи тем вечером спецслужбы Германии возле горящего Рейхстага советского коммуниста, еврея и разведчика?

Темноглазый мальчик едет по ночному Берлину, смотрит в окно и видит, как горит дом. Пожар отражается

в его глазах, и он, трёхлетний, не понимает, какие плиты мироздания на его глазах приходят в движение.

Игорь Петрович Золотусский – сын дважды репрессированного кадрового советского разведчика, детдомовец, а потом один из главных российских литературных критиков семидесятых-восьмидесятых-девяностых годов двадцатого века.

... Мальчик смотрит на огонь, не зная, что видит искру пожара, который сожжёт семьдесят с лишним миллионов жизней и установит стандарты зверств на долгие времена. Языки пламени из окон Рейхстага плещут в его тёмных глазах, тени мечутся на лице. Он не знает, что обещают эти тени, не знает, как отразится каждый сполох пламени на судьбах мира.

Иногда мы думаем, что горит дом, а это начинает гореть весь мир.

Магеллановы Облака

Небо как чёрная копирка, звёзды, чей-то застывший выдох – Млечный Путь, и два клочка тумана – Большое и Малое Магеллановы Облака, ещё известные как Нубекулы Магеллана.

Он знал, что Магеллановых Облаков не увидать в северном полушарии, где он имел то ли счастье, то ли несчастье проживать. Про облака он узнал на уроке астрономии. Звучание слов заворожило его. Магеллановы Облака... Так можно назвать оперу, песню или даже жизнь.

Магелланом стоило быть хотя бы только потому, чтобы потом твоим именем назвали облака в далёких вселенных.

После школы он подал документы в институт на факультет астрономии, довольно легко сдал экзамены и уехал в деревню.

Они с местными парнями напились и пошли шарахаться по селу. Здесь оторвали кусок забора, там развесили сохнувшее бельё по кустам и раскидали по траве.

Месяц, узкий, как казацкая сабля – или ресница, плыл над ними. Они были молоды, вино шумело в головах, выдавая то какофонию, то баховские хоралы. Юность – время, когда и хаос, и баховский хорал видятся одинаково ценными.

Нелёгкая вынесла их за деревню. А там прибитая росой пыль, перепела, меха трав и свобода. Что они кричали? Что пели? Юная дурь. «Мы поставим здесь всё на уши», – кричали они в сырые поля и небо в многосветье звёзд.

Нелёгкая ведёт легко, но приводит к трудному. Они добрались до передвижной пасеки. Полсотни ульев, расставленных на луговине, вагончик-бытовка.

Кому пришла идея ударить по улью ногой? Не ему. Кому-то из друзей. Улей упал. Всем показалось ужасно весёлым, как нелепо и кособоко валяются в траву стоящие на четырёх штырях ульи. Забыв обо всём, они принялись гонять по пасеке и пинать аккуратные, с крышами, похожие на гномьи избушки ульи. Пчёлы недовольно жужжали внутри, но выходить из тёплых домов в ночной холод и сырость не спешили.

Вино в дурных головах нарушило покой и мудрый выстроенный распорядок пчелиной жизни.

Из стоящего на колёсах вагончика-бытовки вышли мужики.

Юная дурь металась по пасеке, опрокидывая ульи, тревожила маток, личинок – белых, беззащитных будущих пчёл. Мёд, спрятанный в плоху или пока ещё вовсе не запечатанные соты, растекался по опрокинутым пчелиным домам. Пчёлы умеют многое, но не всегда понимают, что делать, если мир опрокидывается.

Мужики, здоровые, тридцатилетние, прошедшие многое, отловили малолеток – носителей хаоса и гадёнышей по сути. Мужики притащили их, всех троих, в бытовку и бросили в угол, сказав: «Дёрнетесь сбежать – убьём». Было что-то недоброе в этих мужиках, в то, что убьют, верилось.

Он лежал в углу, смотрел, как на противоположном конце бытовки три поджарых резких чувака пьют водку и тихо, расслабленно, недобро разговаривают.

Временами кто-то из них вставал и, потянувшись до хруста костей, подходил к ним, забившимся в угол. Вытаскивал кого-нибудь, ставил на ноги.

– Что тебе тут надо было, сучка? – спрашивал один, мосластый, с костлявым лицом.

Потом резко бил под дых, швырял согнувшегося дуrolома в стену и шёл обратно к столу.

Его подняли, рванув за джинсовую светлую куртку на груди:

– Пчёлки помешали? Что надо-то? Зачем пришёл?

– Простите...

– Ах, простите...

Удар в грудь, от которого он влетел в стену и, шевеля, будто опрокинутый жук, ногами по полу, потом ещё с полминуты не мог ни вздохнуть, ни поверить, что ещё жив.

Он смотрел в окно, тёмное, в котором виднелся осколок какого-то созвездия, и думал о Магеллановых Облаках.

«Зачем мы пришли сюда? Зачем потревожили ульи?»

Мужики, выпив ещё по одной, отправились на пасеку, расставили по местам сбитые ульи. Вернулись злые как черти. Отмудохали каждого из них ещё раз и, ругая последними словами, сели за стол.

Ему всегда казалось, что пасечники – добрейшие люди на земле. Вряд ли это так. И это уж совершенно точно

совершенно не так, если вы принимаетесь опрокидывать ульи.

Ему было страшно. Мы идиоты, думал он, кусая себя за палец. Нас убьют, думал он. Нас будут бить день и ночь, недели и месяцы, пока не убьют совсем, думал он. Нас закопают на окраине пасеки и приедут на следующий год, чтобы пчёлы собирали мёд с цветов, что проросли из нас. Он представил, как упадёт на лицо земля, как будет нарастать давление земли по мере того, как сверху будут накидывать всё больше и больше чернозёма.

А где-то на другом конце земли будут светить людям Большое и Малое Магеллановы Облака. Он едва не рыдал. Страшно было умереть, страшно было не увидеть ни одного из Магеллановых Облаков. Обидно так глупо и никчёмно заканчивать жизнь.

За окном стало светать.

Один из пасечников, мосластый, с костлявым лицом, поднялся и, покачиваясь, обратился к ним:

– Встать, сучки!

Они поднялись, не смея взглянуть ему в лицо.

– Все деньги из карманов! – взирая на них мутным взглядом, приказал пасечник. – Паспорта, документы, у кого есть, тоже сюда.

Паспорт имелся только у одного.

– Пошли нахер отсюда! – заорал он.

Они кинулись в дверь. Ударились с такой силой, что вздрогнул весь вагончик.

– Не получается, девочки? – злобно и радостно спросил костлявый.

Он подошёл к двери, открыл её.

Они не вышли – вылетели.

В душе его пела радость освобождения и царапало чувство вины от понимания того, что они сделали.

В предрассветном тумане, словно спящая деревня, виднелись ульи. Все домишки снова стояли на своих местах.

Алкоголь в голове испарился, но радость не исчезала.

Страдания объединяют – они расставались, крепко пожав друг другу руки.

Магеллановы Облака на другой стороне земли продолжали светить.

Мага

Он Мага – абхаз. Ему за семьдесят, но он ещё крепок. Я снимал у него комнату-конуру недалеко от моря.

Стемнело. Мы сидим под навесом из винограда и пьём чачу. Чача настояща на сердцевине грецкого ореха и в тусклом свете лампочки, спрятавшейся среди листьев и гроздьев у нас над головами, похожа на нефть. В банке немного, но это трёхлитровая банка.

Ночь тёплая, южная. Густая и тёмная, как нефть или Магина чача.

– Часа через два дождь будет, – говорит он.

– Откуда знаешь?

Мага лишь взмахивает рукой, показывая, что за семьдесят с лишним лет научился такие вещи чувствовать лучше любого Гидрометцентра. Он щурится, упершись взглядом в стол. Лицо его бесстрастно. Изредка он задаёт вопросы. Я отвечаю. Но больше мы молчим.

– Родители твои откуда? – спрашивает он, ударив себя по сухому плечу и убив комара.

– Из Липецкой области.

Он кивает на банку, и я, будучи вдвое младше него, наливаю нам по стопке.

Из одной конурки выходит студент, идёт к душу и долго плещется там.

– Я был в Липецкой, – внезапно говорит Мага. – Я там чуть человека не убил.

– А ты мог бы убить человека?

– Когда война за независимость была, стрелял. Сказали – там враги, туда стреляйте. Стрелял.

– Попал?

– Темно было. Ночь. Сейчас хочу верить, что не попал.

– А что в Липецкой области случилось?

– Здесь после войны плохо стало. Я в Россию поехал, деньги зарабатывать.

– Что, совсем плохо?

– Дельфинов ели. – Он усмехнулся улыбкой, в которой было больше боли и жалости, нежели веселья.

– Дельфинов?

– Да. Выходили в море на лодках и били из автоматов. Они же людей не боятся.

Мага кивнул, и я снова налил по стопке.

– Я не ел. Не мог. Это как человека есть. Одно и то же.

Его сухой кадык, поросший седой щетиной, двинулся вверх-вниз, пропуская пятидесятиградусную чачу.

– Нет, не мог. Это как человека...

Он посмотрел в сторону моря:

– И я поехал в Россию на заработки. Говорили, там тоже плохо, но всё же лучше, чем у нас. Пусть немного, но лучше. Стали заниматься мёдом.

– Мёдом?

– Да. Делали такие передвижные пасеки. Ездили по областям, искали места, где пчёлам хорошо будет. Чтобы липы, луга, чтобы земля богатая. Чернозём жирный, как сало, хоть с хлебом ешь. Поставили ульи. Я и ещё двое русских. Я у них вроде как за старшего.

Люблю пчёл. Я первые десять лет жизни у деда на пасеке провёл. Да и потом чуть не каждые выходные к нему мотался. Дед колдун был. Его пчёлы не кусали. Я тебе

больше скажу, он не умывался никогда. Я видел несколько раз: утром подойдёт к улью, откроет крышку, пчёлы вылетят, облепят его лицо, так что ни клочка не видно, одна борода торчит. Постоит так, потом снимет пчёл, будто пену, в улей ссыплет и крышку закроет.

Мне от него тоже что-то перешло. Я пчелиных укусов не чую. Меня комары больше кусают.

В подтверждение своих слов он снова хлопнул себя по плечу:

– Бесплезное создание комар. А в пчеле мудрость. Если б мы у пчёл учились, рай бы на земле наступил. Пчёлы помнят о рае, точно тебе говорю. Мне дед сказал. А ему – пчёлы. Дед пчёл любил, говорил, они ему жизнь спасли.

– Мёдом вылечился? – спросил я.

– Нет. Говорил, напрямую спасли. Во время Гражданской в него абрек стрелял, в грудь попал. Он упал с коня, и темно стало. А пришёл в себя – по бешмету пчёлы ходят и две дырки от пуль воском заделаны.

Я постарался ничем не выдать своего недоверия, но что-то, видимо, мелькнуло в моём лице.

– А! – негодуяще взмахнул он рукой.

Я наполнил стопки.

– Пчёлы – чудо. Мёд – вкус рая, который пчёлы сохранили для нас, – продолжил Мага. – Ты молодой, ни во что не веришь. Сам был молодым, сам только в себя верил. Но некоторые вещи с возрастом и опытом доходят. И до тебя дойдут.

– Мага, я принесу ещё абысты? – слышался голос магиной жены.

– Неси, – чуть дрогнул он рукой. – И соус не забудь.

Его жена, Джульетта, да-да, Джульетта, она сама просила, чтобы мы её так звали, принесла нам блюдо с мамалыгой и плошку с бордовым соусом.

– Пчёлы... Знаешь ты что-то о мудрости и сложности пчёл? У пчелиной матки есть жало, но пустить его в ход она может только против другой матки. И никогда не опозорит своего оружия убийством рабочей пчелы или трутня. Понимаешь?

С моря потянуло прохладой. Мага закрыл глаза, крылья его носа вздрогнули. Провалы на щеках стали глубже, словно весь он удалился в себя, чтобы лучше слышать свои ощущения.

– Нет, конечно, я бы не убил его, – сказал он, открывая глаза, отламывая крохотный кусочек мамалыги и окуная его в соус. – Хотя тогда мне казалось, что мог бы.

Студент помылся, прошёл мимо нас, хлюпая мокрыми резиновыми тапочками.

– Магомед, можно стопку? – вытирая шею и лицо, обернулся он к нам.

– Гость всегда готов, хозяин бывает не готов, – не улыбаясь, пошутил Мага. – Но это не тот случай.

Студент выпил и, вязко шлёпая китайскими тапками, пошёл к себе.

– Они были молодые, пьяные. Дураки. Вот просто дураки, и всё. Шли мимо и увидели ульи. Нет, сейчас я готов их понять. Сам был молодым. Сам творил... А, чего только не творил! И дрался до крови, и врал, и людей ни во что не ставил. Дурак был. Такой же, как они. И вот идут эти трое мимо нашей пасеки, увидели ульи – и начинают их ногами бить. Пинать, катать. Один, другой, третий. Мы... Хорошо, мы услышали шум. Вышли, скрутили этих малолеток, завели в вагончик, кинули в угол. Мы тогда водку пили. Те, кто со мной были, они старые сидельцы, все руки в крестях, пиках. Так и я по малолетке отчалился, они меня слушались.

Вышли мы из вагончика, дверь заперли. У меня в руках фонарик. Иду, свечу. Вижу – улей лежит. Эти дураки

скинули его и ещё пнули раза два. След, трава примята. Крышка упала. Я посветил внутрь. А там... Знаешь, там...

Магомед потёр костистую переносицу:

– Там от ударов соты вскрылись, мёд течёт, и в меду этом пчёлы... Увязли в нём, утонули. Янтарь видел? Они в нём как в янтаре. Вот я вижу, как течёт мёд. Как язык коровий. И в нём пчёлы. У меня душа перевернулась.

Поставили улы на место. Я ставлю, а сердце в крови. Знаю, завтра через летки мёд потечёт. Мёд, понимаешь, через летки потечёт?

Мага закрыл ладонью лицо, потом с негодованием откинул руку:

– Я тебе честно скажу – убивать был готов. Тем более девяностые годы. Закопали бы где-нибудь в стороне, никто б и не нашёл. Точно говорю. Убил бы, правда...

– И почему не убил?

– А знаешь, был среди них один, нескладный такой. В очках. Лицо глупое, пьяное. Сразу видно, что чуть не в первый раз в жизни вино пил. Я злой. Ударил его в грудь, как в армии, до хруста. «Скворечник пробил». Он упал, заворочался. Вижу – глаза его осмысленными стали. И ещё вижу – смотрит он в окно напротив, и лицо его такое, будто он там что-то видит. Не меня видит, который его сейчас убьёт, а там, за окном видит. И тут, понимаешь, дрогнуло во мне что-то. Будто заново человеком стал. Простил ему разом и улы, которые он перевернул, и мёд, который разлился, и пчёл, что в нём утонули. Вот, понимаешь, посмотрел он в небо, как на... Как на что-то святое, что ли. И всё, не смог я больше бить человека, у которого есть что-то святое. У меня пчёлы, у него звёзды. Это рассказать сейчас сложно. А тогда мне сразу всё ясно стало.

Мы замолчали, осмысливая услышанное. Причём я уверен, что он осмысливал свой рассказ так же, как я.

– Мага, нужно что-то? – спросила Джульетта.

– Нет! – И в голосе его послышалось неудовольствие человека, которого сбили с мысли. – Потом спросишь, ладно?

– Хорошо, Мага, – покладисто согласилась жена.

Вдали послышался смягчённый расстоянием удар грома.

Чача хороша тем, что она, как всякий крепкий алкоголь, идёт чем дальше, тем лучше.

... Мы заканчивали наш разговор под проливным дождём. С виноградных листьев падали тяжёлые, как мёд, капли. В рюмки, в открытое горлышко трёхлитровой банки. Несмотря на наши старания, банка снова стала наполняться.

– Мага, иди домой! – крикнула Магина жена.

– Сиди!

Старый абхаз провёл по лицу, стирая капли:

– Прекрасное было время. Прекрасное. Запомни, время молодости всегда прекрасно. И поэтому никогда не верь старикам, вспоминающим о молодости.

Капли барабанили по столу, скапливались в лужи на потёртой клеёнке.

– Знаешь, как меня звали в России? – внезапно вспомнив что-то, вскинул он голову вверх в беззвучном смехе.

– Ну, Магомед, наверное? Или Миша?

– Нет. Магеллан.